

«Если дюгонь – рыба, то человек – птица», – Пётр Алексеевич проводил взглядом три рокочущих вертолётa, кочующих в дрожащем небе цепочкой к авиабазе в Острове. Недавно он перечитал «Моби Дика» и вновь подивился причудливой систематике китов, которую автор приводил в своём почтенном сочинении. Сиреновые – ламантины, дюгоны и приказавшие долго жить стеллеровы коровы – по этой классификации относились к рыбам на том основании, что не пускали водяных фонтанов.

У небольшого озерца, сочащегося долгим ручьём в речку Скоробытку, съехали на обочину и заглушили двигатель. Пал Палыч хотел посмотреть – не сидит ли где утка. Осторожно, чтобы ненароком не хлопнуть дверью, он взял с заднего сиденья пятизарядный винчестер, спустился боком, припадая на одно колено, по откосу и, нырнув в серые заросли ольхи, скрылся из глаз.

Вечерело. Лягушки давали на озере звонкий концерт. По другую сторону дороги за прозрачными кустами лозы, обсыпанными пуховыми комочками вербного цвета, носились над болотистым лугом белобрюхие чибисы. Пётр Алексеевич тоже вышел из машины, вдохнул полной грудью сырой, напоенный земляными запахами прели воздух, взял ружьё и встал возле выпускающего печной жар капота. Прислушиваясь к ору и свисту проснувшейся жизни, он следил за береговыми кустами, – вдруг Пал Палыч спугнёт утку и та сдуру махнёт в его сторону.

Бурая прошлогодняя осока стелилась по лугу, то тут то там щети-нящемуся сухими стеблями дудок. Молодые стрёлки зелени только-

только начинали пробиваться сквозь зачёсы старого травяного ворса. Пётр Алексеевич собирался добыть сегодня вальдшнепа на тяге. Вместе с уткой боровая птица была вписана в путёвку, взятую им в охотхозяйстве. Небо как на заказ понемногу застилало ровные облака, обещавшие не то хмарь, не то морось, но при этом было довольно тепло – лучшей погоды не стоило и желать.

Вскоре Пал Палыч показался из кустов. На озерце было пусто, если утка здесь и садилась, то сейчас укрылась в прибрежном *сите* (Пал Палыч называл озёрный камыш то тростой, то ситом, поскольку внутри тот был губчатым, в дырочку; при этом Пал Палыч полагал, что троста – местное словечко, в то время как сито – учёное, книжное название) или землисто-бурой траве дальнего тряского берега. Хоть утки и не было, Петра Алексеевича не покидало чувство радостного возбуждения, пропитывавшее, казалось, всю материю мироздания – лягушки заливались в этой луже так самозабвенно, так радостно голосили о своём житье-бытье, как, должно быть, ангелы седьмого неба, встречая душу праведника, славят Царствие Небесное.

После озерца отправились в Ивановково, где Пал Палыча ждал дед Геня, бывлой товарищ по охоте, теперь постаревший, потерявший зубы и ловчую прыть. Он звонил утром, сказал, что видел следы – кабаны перешли дорогу и теперь бродят в чащобе, где Пал Палыч на звериной тропе, рядом с засидкой в семнадцать набитых на ствол осины ступеней (меньше нельзя – учуют), сыпал на прикорм кукурузу. Если Пётр Алексеевич имел виды на вальдшнепа, то Пал Палыч намерен был провести ночь на дереве. Твердить ему о неприглядности самовольного пострела не имело смысла – на этот случай у него в запасе был ворох встречных аргументов, начиная от претензий прохвостам-егерям и оборотням-охотоведам, готовым выгнать зверя под ружьё местного бугра или залётного туза в любой сезон, и кончая лицемерными исключениями – мол, коренным народам Севера не возбраняется бить заповедного тюленя и кита, поскольку это их природный промысел, а мужику в добыче, какую брали искони в лесу его отцы и деды, отказано. Разгорячённое подобным спором лицо его без слов говорило: хрен с коромыслом. Пал Палыч был уверен, что нипочём не возьмёт на охоте лишнего, а потому и зверя от его малого беззакония не убудет. Стеллерова корова эту уверенность, воскресни она и прими участие в прениях, определённо бы не разделила.

Слушая такие речи, Пётр Алексеевич всякий раз убеждался, что люди волевые от природы не годятся в мыслители – истина постоянно требует от человека уступки перед своей непреложностью, а сильные натуры на уступки скупы.

– Всё хотел спросить, Пал Палыч, – Пётр Алексеевич аккуратно объезжал торчащие из грунтовки булыганы, – а что Гарун?

– А что Гарун? – Пал Палыч поднял белёсые брови.

– Охотитесь?

– С им?

– С ним. Толк есть?

– Толк есть, – Пал Палыч вздохнул, – да, знать, ня втолкнут весь.

Пётр Алексеевич мотнул с усмешкой головой.

– Вы, Пал Палыч, иной раз как юродивый.

– Так мы, Пётр Ляксеич, какие есть. – Пал Палыч задорно улыбнулся. – А что ня так?

– Да говорите, будто Ксения Блаженная, прости, конечно, Господи... Слышали? Та тоже – всё загадками. Её в сочельник добрым словом припевают, а она: пеките блины, пеките блины...

– А скажу ясно, – подбоченился Пал Палыч. – Испортили собаку в городе. Я её и той вясной натаскивал, и осенью по чарнотропу, когда травы отцвели и ня сбивают больше запахи. Ни в какую – заснула в ней рёда. Загубили пса хозяевá-то прежние. Загубили подчистую.

Гаруна, породистую двухлетнюю лайку, год назад привёз Пал Палычу приятель Петра Алексеевича – зоологический профессор Цукатов тоже любитель побродить с ружьём. Так вышло, что его учёный коллега от Гаруна отказался – брал щенком как домашнего питомца, а он вырос и стал велик для городской квартиры. Пётр Алексеевич знал суровую простоту здешних нравов – тут охотник бестолковую собаку за здорово живёшь кормить не станет – и взгрустнул о незавидной судьбе красивого чёрного пса с белой грудью и хвостом-бубликом. Пусть Гарун не промысловик – но мог ведь стать другом, весёлым и верным...

– В лес отвели? – Голос Петра Алексеевича окрасили траурные нотки. – Под ракитовый куст?

– Под какой такой куст? – переспросил Пал Палыч.

– Это так, фигура речи.

– Вы, Пётр Ляксеич, меня ня путайте. Мы в школе как учились? В первом классе – год, во втором – два... Я Гаруна Гене отдал. Дед уж ня охотится, один живёт, а так хоть рядом есть кто – существо.

– Это вы хорошо, – взбодрился Пётр Алексеевич. – Правильно сделали.

– Он его на цапи во дворе держит. Чтоб лихо ня подкралось.

– Домашнего пса – на цепи?

– Ему ня нравится, а что поделатъ? Ня гожий на охоту. Сорвётся, по дярвенне покружит, а потом обратно прибягёт.

Пётр Алексеевич решил тему не развивать, подумав о себе рассудительно: «Ну, брат, тебе не угодить».

С Гаруна разговор перешёл на деда Геню. Когда Пал Палыч только начинал баловаться ружьём, Геня был уже знатным охотником, знал повадки зверья и ходил в лес, как в свой дровяник за поленом. Молодые побаивались старших – вдруг зайца возьмёшь, а Геня скажет: то ж мой, я его к празднику, на Покров берёг. И не поймёшь по неопытности – балагурит или всерьёз. Теперь не то. Теперь не было над Пал Палычем шишкаря, кроме леса-батюшки и небесных ловцов, что ушли не превзойдёнными и ястребиным глазом видят сверху зверя на путях его. «Нас в сямье восемь дятей было, – иной раз впадал в сдержанную похвалбу Пал Палыч. – Старшой помёр скоро, мálьцем ещё – меня отец, как его, Пашкой назвал. Так за двоих и живу: болячек в детстве – ломом ня отбиться. И паховая грыжа, и дистрофия – ноги колесом, и этот самый... инурез – до сядьмого класса в постель мочился, до созривания. Но, правду сказать, и силёнок на двоих – Бог ня обидел. Это в смысле той силы-то, жизнянной – няугомонный больно. В лясу сутки буду бегать – ня умаюсь».

Жизненная сила, должно быть, далась ему по наследству. Рассказывал Пал Палыч, что отец его в девятнадцать лет со старыми родителями (он был младшим из семи сестёр и братьев) оказался в оккупации. Когда немцы по деревням собирали годный к работе люд, чтобы гнать в Германию, отец схитрил, прикинулся мёртвым – лёг в гроб посреди горницы, а на двери бумажка: «Осторожно – тиф!» Но немцы, видно,

по-русски не читали. Пришли – один у окна встал, другой у дверей, а третий – в дом. Старики-родители голосят, да бестолку. А как фриц отца в гробу в белом исподнем увидал, так смекнул и – дёру. Словом, уберётся – чего он в их Германии не видел?

Теперь Пал Палыч вещал с пассажирского сиденья:

– Если на кабаньей тропе место ищешь, куда корм сыпать, гляди, где свиньи рылом зямлю грабли. И чтобы рядом дерево годящее, куда и пярекладины набить и засесть удобно. А ещё – чтобы сосна или ёлка большая. Кабан любит о них тяреться – паразитов со шкуры на смолу клеить. Та сосна вся в шарсти, и кора у ней клыком пропорота, чтобы сочила всплошь. – И он полоснул рукой по воображаемому стволу, оставляя на нём смолистую зарубку.

Дед Геня встречал гостей на крыльце – в старой, неопределённого цвета куртке, сливающейся с любым природным фоном, засаленных штанах и обрезанных под боты резиновых сапогах, обутих поверх шерстяного носка. Прошамкал что-то не то приветливое, не то лукаво-недовольное – Пётр Алексеевич не разобрал. Зато Пал Палыч по-своему хохотнул и протянул хозяину прихваченный из дома пакет:

– На-ка вот, попробуй нашего.

В пакете была кроличья тушёнка, закатанная в стеклянной банке, и пара уже почищенных Ниной щук – ведро свежей рыбы Пал Палыч утром привёз с Селецкого озера, где у него стояли сети. За крыльцом, возле конуры, заливался на привязи Гарун.

Приняв пакет, дед Геня снова что-то *протарабарил* беззубым ртом, словно говорил на языке шуршащей под ногами сухой травы и шумящего на ветру прошлогоднего камыша. «Как в опере», – подумал Пётр Алексеевич, имея в виду не музыкальность речи, а то, что и там и там разобрать слова было одинаково трудно. Недавно он с женой ходил в театр, где давали «Царскую невесту», и впечатления от спектакля были ещё свежи. В том числе благодаря режиссёрскому решению – опричник Грязной был похож на Раскольников в горячке, а боярин Лыков, вернувшийся из неметчины, – на Ленского, поскольку костюмеры нарядили его во фрак, цилиндр и крылатку.

Дед Геня между тем продолжал свою арию. Пётр Алексеевич попросил Пал Палыча перевести.

– Охота, говорит, нынче ня та, – с готовностью растолковал Пал Палыч. – Раньше зверья было ня в пример гуще. Зайцы без счёта, кабаны, козы, лисы... За баню иной раз выйдешь, а там лоси стоят как на привязи.

Дед Геня закивал – ввалившийся рот его некрасиво улыбался, зато глаза... глаза сияли.

– Ты, дед, когда помрёшь, меня ня забывай. – Пал Палыч потрепал хозяина по плечу. – Оттуда, с облаков-то, веди меня на кабана. Если ня туда заверну, ты направляй. – Недолго помолчав, Пал Палыч добавил: – А и ня знаю, помрёшь ли. Такие, как ты, ня умирают – такие навсегда остаются в нашей пячёнке.

Дед что-то прошамкал в ответ и засмеялся. Смех его в услугах толмача не нуждался.

Пал Палыч зашёл в комнату и достал из шкафа зачехлённое ружьё, которое держал здесь специально на браконьёрский случай. Свою магазинку поставил на его место. Ружьё – двуствольная ижевка – едва ли не за бутылку было приобретено им с рук в соседнем Дедовичском

районе ещё в начале бедовых девяностых и, разумеется, нигде не регистрировалось. Если что, его всегда можно сбросить, потом разбирайся – чьё добро.

Собравшись, наконец пошли к машине.

Дед Геня неожиданно изъявил желание ехать с ними.

– Ладно, – сказал Пал Палыч. – Вы, Пётр Ляксеич, пока вальдшнепа слушаете, Геня рядом побудет. А я – на засидку. Как смяркнётся, вы сюда – в Иваньково. Подрямлите. А я покараулю до полночи – и тоже к вам.

Пути от Иванькова до перелеска, где обычно тянул вальдшнеп, было километра два. На глинистом просёлке, отражая бледное небо, взблескивали небольшие лужи. Поля вдоль дороги, на которых некогда ходили волной под ветром овес, рожь и голубой лён, теперь бесхозно зарастали где березняком, где молодыми соснами. Геня с заднего сиденья что-то вещал, но чувствовалось, что он обращается к слушателям без особой надежды, как поэт к звезде.

Добравшись до места, Пётр Алексеевич свернул с просёлка и завёл машину на небольшой холм, поросший редкими кустами, которые дальше густели и переходили в опушку перелеска. По бездорожью машина шла уверенно – земля была упругой: тёплая весна пока скупилась на дожди, и почва, напитанная лишь талыми водами, не раскисла.

– А правильно, – одобрил Пал Палыч и махнул рукой в ту сторону, куда бежал путь. – Там дорожина в низок идёт, грязь такая – на брюхо сядете.

Воздух дышал влажными запахами пробудившейся земли. Пока Пётр Алексеевич переобувался в сапоги, Пал Палыч закинул на спину рюкзак с топориком, положил в карман, аккуратно смотав проводок с выносной кнопкой выключателя, небольшой подствольный фонарь и подхватил ижевку. Махнув на прощание рукой, он быстрым шагом направился в тот самый низок, за которым по полю и лесу ему предстояло ещё пару вёрст топтать до засидки.

Дед Геня, попыхивая папиросой, переминался с ноги на ногу возле машины. На нём были всё те же обрезанные под боты сапоги и засаленные штаны, только куртку теперь запирала молния и перетягивал ремень.

Понемногу смеркалось – до заката оставался чих бараний. В лесу за низиной, где скрылся Пал Палыч, бормотал тетерев, на голой берёзе, молодые ветви которой красновато румянились спросонок, звонко щёлкал дрозд, кто-то тенькал, кто-то цвиркал, кто-то скучно, как подтекающий кран, цедил по капле один и тот же монотонный писк. Пётр Алексеевич подпоясался патронташем, зарядил ружьё семёркой и отправился к перелеску выбирать позицию. Дед Геня не отставал, то и дело побряхтывая и бухтя что-то себе под нос. Пётр Алексеевич разбирал лишь отдельные слова – похоже, старый охотник давал наставления и делился опытом. Увы, принять и оценить его уроки не было никакой возможности – чтобы постичь таинственный язык, в который нарядились ловчие секреты, требовался если не розеттский камень, то по крайней мере – программка с либретто.

Подступающие ли сумерки навеяли, птичий ли перезвон или образ деда Гени, беседующего со звездой, – припомнился внезапно Петру Алексеевичу завскладом типографии Русского географического общества Иванюта. Сам Пётр Алексеевич работал в этой типографии главным технологом. Практически ровесники, они были дружны. Зав-

складом писал стихи, несколько изданных им сборников с ироничными дарственными надписями стояли у Петра Алексеевича за стеклом книжной полки. Однажды в задушевной беседе Иванюта ему исповедался. В его юности не было поэтических конкурсов и премий, которые могли бы поддержать и высветить молодое дарование. Да и бес с ними, ведь в юности он твёрдо знал, что любая награда по своему достоинству всё равно окажется ниже его таланта и мастерства – чтобы она пришлась им вровень, ей следует быть исключительной и присуждаться раз в столетие. Потом он повзрослел, изведал аплодисменты какое ни на есть лауреатство, прочие отметины признания и поверил – волна успеха, как могильная плита, накрыла пеной навсегда. Теперь он говорил себе, что не стоит требовать слишком многого – довольно и того, что талант чествуют и увенчивают, тогда как обычно он остаётся в безвестности. Потом волна схлынула, премии стали обходить его стороной, поскольку народились новые поэты и встали в очередь за венцами. И он покинул подступы к пьедесталам, сделавшиеся такими тяжкими от того, что недавно были столь радостными и утешительными. Вновь оказавшись без наград, он больше не мог согреться мыслью о ничтожестве их значения, потому что и сам его дар уже не виделся ему таким могучим и всепобеждающим, – тогда в сердце его закрались раздражение и ревность. Чтобы не пойти вразнос, он замкнулся, ушёл из шумного поэтического круга, где каждый считал себя гением и одновременно мучительно сомневался в собственной избранности, затворился во внутреннем скиту. С той поры он решительно избегал публичности, и это была одна из тех спасительных причин, которые позволяли ему иногда чувствовать себя счастливым.

Вот и дед Геня тоже словно был в затворе – не доброхотно, а, что ли, вынужденно, обречённо. Затвор навыворот – уединение благодаря невнятице, которой, точно кашей, был наполнен его рот, сам по себе вполне к общению готовый...

– Ну цо? Ружьё да ўда обедают худо?

Петр Алексеевич вздрогнул. Что это было? Кто сказал? И ясно так – звонкий отзвук как будто бы ещё вибрировал оборванной струной в пространстве.

Дед Геня улыбался, смоля вонючий табачок.

Бывает, мелькнёт безмолвно слово в голове, а кажется – снаружи громом гроыхнуло. А тут не слово – целый табунок. Ну не старик же со своей изношенной, скрежещущей в суставах речью так чётко выдал...

Вдали раскатисто хлопнул выстрел. Дед Геня повёл ухом и откликнулся невразумительной тирадой, смысл которой, напрягшись, Пётр Алексеевич всё же уловил: картечь. Ну, то есть вдарили картечью.

Первая пара показалась над верхушками деревьев неожиданно – без циканья и хорканья. Или Пётр Алексеевич за весенним гамом спускающегося в сумерки леса их просто не расслышал. Вальдшнепы ссорились на лету, наскакивали друг на друга, закладывали резкие виражи, бросались в сторону, ныряли и вспархивали, стараясь достать один другого длинным клювом. Задиристые самцы летели невысоко, но стороной – не под выстрел. Тем не менее сердце Петра Алексеевича забилось бодрее, он приподнял ружьё и, весь обратясь в зрение и слух, проводил драчунов взглядом.

Дождь так и не брызнул, но в остальном порядок – тепло, безветрие и пасмурная пелена на небе.

Вскоре сквозь посторонние птичьи посвисты послышалась хрипловатая тростниковая дудочка: хрвок-хрвоок-ци-цик – раз, другой, третий – и в бледном свете неба над опушкой взмыл трепещущий вальдшнеп. Чуть упредив, Пётр Алексеевич сбил его одним выстрелом – ржаво-бурый, с волнистыми пестринами комок колесом рухнул вниз. Дед Геня удовлетворённо крикнул. Он сидел рядом на земле, подоткнув под зад полу куртки. День ещё не померк – долгоносую птицу Пётр Алексеевич нашёл без фонаря.

Пролётный вальдшнеп, похоже, уже откочевал, остался *местовой*, так что тяга была средней. Тем не менее Пётр Алексеевич подстрелил ещё двух и двух досадно упустил, пальнув одному в угон метров с двадцати дублетом и промазав, а другого попытавшись взять королевским выстрелом над самой головой и – тоже мимо, после чего наступило затишье. То есть вальдшнеп тянул, но в стороне, за низиной. Некоторое время Пётр Алексеевич ждал, что носатая пичуга пойдёт и на него, но та не шла, прочерчивая дуги над деревьями в недоступном выстрелу соседстве. Не утерпев, он спустился к дороге, миновал вдоль зарослей ольхи, стволы которой оплетал сухой прошлогодний хмель, широкую слякотную лужу в низине и встал с другой стороны перелеска, на краю опушки.

Затянутое хмарью небо уже почти погасло, лишь на западе из-за горизонта его озаряли последние закатные лучи. Вдали опять громыхнул гулкий выстрел, но в этот раз деда Гени рядом не было, а на свой слух Петру Алексеевичу все выстрелы казались одинаковыми – между тем, возможно, это уже Пал Палыч пулей бил подсвинка... Тут Пётр Алексеевич услышал хорканье и развернулся на звук к едва различимым во мраке кустам. Тростниковая дудочка свистнула вновь, ближе, ещё ближе, и впереди над ветвями показалась нечёткая чёрная точка. На Петра Алексеевича невысоко, над самыми кустами шёл вальдшнеп, как говорят охотники – *на штык*. Вскинув ружьё, Пётр Алексеевич выстрелил. Вальдшнеп рухнул вниз, в кусты, на устилающую сырую землю прошлогоднюю листву. Тут уж без фонаря – никак.

Провозившись некоторое время с поисками, Пётр Алексеевич подобрал добычу. Кругом плясали и тревожно разбегались разбуженные лучом фонаря тени. Вальдшнепу от лобового выстрела досталось – одна из дробинок перебила ему верхний клюв, и он косо надломился, а в месте надлома повисла кровавая капля. Почувствовав ладонью на спине птицы что-то твёрдое, Пётр Алексеевич внимательно рассмотрел трофей: на ноге вальдшнепа болталось жестяное колечко, а на спине, подвязанный на двух тонких резиночках, продетых под крыльями, крепился, точно крошечный ранец, небольшой чип. «Отдам профессору, – подумал про кольцо и чип Пётр Алексеевич, – он знает, как распорядиться». Настроение у него было бодрое – охота удалась.

Между тем сумрак над кустами и в стоящем за ними лесу сделался и вовсе непроглядным. Пора было возвращаться. Светя под ноги лучом и разбрызгивая тени, Пётр Алексеевич отправился назад через раскисшую низину.

Дед Геня сидел на усталой старой травой земле у машины, привалившись спиной к двери, и дымил папиросой. Машину Пётр Алексеевич не закрывал, так что тот мог преспокойно разместиться внутри, но отчего-то не разместился. Бросив окольцованного вальдшнепа на землю возле колеса, где уже лежали три птицы, Пётр Алексеевич открыл багажник – достать пакет, чтобы добыча не пачкала кровью рюкзак и коврик. С кряхтением поднявшись с земли, дед разразился чере-

дой шершавых звуков, судя по интонации – одобрительных. И в самом деле: в такой темноте взять вальдшнепа одним выстрелом – дело не плёвое. Пётр Алексеевич внутренне улыбался: похвала старого охотника, пусть даже не вполне разборчивая, была ему приятна.

И вдруг отчётливо, как будто в зоб ему вложили новый голос, дед Геня произнёс:

– Ня путай мудрёго старика со старым мудаком.

На этот раз не было ни ослышки, какая случается порой в задумчивости, ни морока минутной дрёмы наяву – говорящий был очевиден пусть и окутан павшей темнотой. Воистину чудная речь была у деда точно ворох пепла от сожжённой газеты, в котором нет-нет да попадались обгоревшие клочки с обугленным, но всё же читаемым текстом – увы, бессмысленным в отрыве от истлевших причинностей и связей.

На обратном пути Пётр Алексеевич вспомнил про фляжку, которую перед отъездом на охоту сунул в карман рюкзака – она с тех пор так и валялась вместе с рюкзаком в багажнике. Забыл про неё начисто – вечер был тёплый, и тянул вальдшнеп недурно – держи ухо остро, вот и вышло, что а) без нужды и б) некогда. Зато теперь фляжка придётся кстати, поскольку Пётр Алексеевич решительно не знал, чем ему заняться с разговорчивым, но при этом досадно безъязыким Геней до той поры, пока не вернётся слезший с дерева Пал Палыч.

Вскоре в свете фар показалось Иваново, и машина свернула к избе старика. Пёс у конуры зашёлся лаем, но, увидев хозяина, умолк и принялся мести хвостом.

Захватив фляжку, вид которой Геню явно воодушевил, Пётр Алексеевич следом за хозяином поднялся на крыльцо. В сенях переобулись, сняли куртки, и старик, рассыпая из-под носа шамкающий говорок, принялся хлопотать в кухне над столом. Горбушка хлеба, банка привезённой Пал Палычем кроличьей тушёнки, три солёных огурца на блюде и два стакана – всё убранство.

Дед Геня исторг протяжный, но нерасчленяемый порядок слогов и вопросительно взглянул на Петра Алексеевича. На всякий случай тот кивнул. Хозяин, сипло кашлянув, прошаркал к холодильнику, потом – обратно, и на столе появился шмат розоватого на срезе сала. Предложенный Геней кухонный нож был сточен в шило, поэтому Пётр Алексеевич достал из поясных ножен свой и быстро насёк несколько тонких ломтиков. Потом нарезал хлеб и огурцы, после чего свернул фляжке голову и плеснул в стаканы пустивший крепкий дух коньяк.

– За славную охоту, – провозгласил Пётр Алексеевич. – Пусть и Пал Палычу сегодня повезёт.

Хозяин согласно закивал, поддакнул и опрокинул стакан в тёмную яму рта. В успехе Пал Палыча он был заинтересован напрямую – тот всякий раз, взяв кабана со здешней осины, щедро делился мясом с дозорным, следящим за ходом зверя, так что хватало старику и себя потешить дичиной, и отправить гостинец сыну, живущему, со слов Пал Палыча, в Пскове и наезжавшему проведать Геню, увы, не часто. Пётр Алексеевич тогда подумал: «Известная история – одно из двух: старикам вечно не хватает либо внимания детей, если они разделены, либо пенсии на их содержание, если великовозрастные чада от стариков не отлепились».

Так и сидели – дед Геня смолит папиросу за папиросой, сорил бесполезными словами, Пётр Алексеевич, ковыряя ножом тушёнку,

прислушивался, ловил интонацию, следил за мимикой хозяина и в тех местах, где полагал это уместным, выражал бодрое согласие или улыбался. И тут дед в очередной раз вразумительно изрёк:

– А цо бояца мне? Ня бяри чужого ницёго и ня бойся никёго.

Словно из мутной булькающей лужи вырвался чистый фонтанчик гейзера и снова в мутное бульканье упал.

На этот раз Пётр Алексеевич уже не удивился, напротив – обрадовался определённости высказывания и охотно Геню поддержал:

– Вот это верно. И звучит как тост. – После чего налил коньяк в стаканы.

Когда фляга опустела, вновь набивший рот кашей, однако же повеселевший и теперь беспрестанно улыбающийся лучистыми глазами дед достал засаленную колоду карт – тут уж и слов не требовалось, чтобы его понять.

Перебрались в комнату на старинную оттоманку с валиками и подушками, обтянутыми изрядно повытертым и залоснённым гобеленом, где, развалившись в турецкой неге, лёжа на боку лицом друг к другу, принялись резаться в подкидного дурака. Во рту хозяина дымила папироса, рядом грудой окурков ершилась жестяная пепельница. Большая русская печь, протопленная ещё перед приездом гостей, дышала каменным теплом.

Дед Геня оказался ловок в картах – из десяти партий Пётр Алексеевич остался в дураках восемь раз. Выигрывая, старик возбуждался и радовался, как голопуз, получивший в руки погремушку.

За окном стояла казавшаяся из избы непроглядной темь, комнату заполняла сизая пелена, лампочка под потолком пускала в табачном дыму иглы жёлтого света. Понемногу Петра Алексеевича сморило. Заметив это, дед Геня благодушно предложил подремать и, подавая пример, откинулся на подушку. Кажется, Пётр Алексеевич уже понимал его без перевода, как клоуна Асисяя, – довольствуясь интонацией и мимикой.

Сон Петру Алексеевичу приснился странный, беспокойный, городской. Большой концертный зал; на заднем плане сцены – музыканты с гитарами, мандолинами и медными духовыми играют что-то шумно-ритмичное, с трубными подвывами, а перед рампой летают вверх-вниз визжащие кошки на парашютах, и дамы в кринолинах пьют чай из ночных горшков.

Момент появления Пал Палыча Пётр Алексеевич проспал. Однако вынырнул из забытья легко, без вязкой тяжбы между сном и явью. Когда он открыл глаза, Пал Палыч извлекал из шкафа винчестер и ставил на его место ижевку. Дед Геня сидел на оттоманке и молча следил за манипуляциями гостя.

– Что делать – ня пришёл кабан на кукурузу, – словно бы отвечая на незаданный вопрос, сказал Пал Палыч. – Ты, дед, сляды глядел – ня обознался?

Глаза старика улыбнулись, шевельнулись ввалившиеся губы, но он по-прежнему молчал, и в его молчании странным образом чувствовалась какая-то осмысленная завершённость и полнота.

– Ня злись, дед, ещё придёт – куда ему деваться? Будем с мясом, ня боись.

Как будто смущенный непривычным безмолвием старого охотника, в котором, вероятно, ему мог померещиться укор, Пал Палыч заспешил, поторапливая Петра Алексеевича к отъезду.

Вышли на улицу. Ночь была черна, как обморок вселенной, – точно и не апрель, а поздний октябрь на дворе. Из конуры молча вылез Гарун – в темноте его выдавали лишь позвякивание цепи и белое пятно груди. Сели в машину. Дед Геня остался на крыльце – его силуэт озарял желтоватый свет, падающий из открытой двери.

По пути к Новоржеву Пал Палыч вспоминал юность.

– После техникума, я в армии служил на танке. По телевизору биатлон показывают – видали?

– Танковый?

– Ага. У нас в то время тоже было, только ня называлось биатлоном, так – соревнования. Гянерал-майор Макаров нашим корпусом командовал. Сержантам, какие займут первое, второе, третье место, – тем альбомы бархатные в подарок. А офицерам – авторучки чарнильные с золотым пярком. Соревнуемся, а тут офицеры ниже сержантов показали результат. Так он, Макаров-то, офицерам ня дал ничего. А нас, трёх сержантов, вызвал. Я младшим был, а двое на полгода меня старше. Вот гянерал-майор-то и вручает: вам, говорит тем двум, на дембель альбомы, а тябе, говорит мне, ещё служить, ты офицерскую ручку держи... Только и смеху потом: «Ну, Павлуха, даёшь! Офицер!» – Пал Палыч тряхнул головой и коротко, но залиvisto рассмеялся. – Только я на сверхсрочную ня остался. Мы с Ниной ещё до армии сговорились, чтобы жаниться. Как отслужил, позвали в Ломоносов на танкоремонтный завод. А Нина ни в какую: «Я без зямли ня могу, мне цветы нужны и природа...»

С обочины дороги в свете фар взлетела какая-то крупная хищная птица.

– Филин, – с одного взгляда определил Пал Палыч и, немного помолчав, признался: – А свинья-то пришла. В кустах долго стояла – осторожная, но к кукурузе ня вышла. И других ня пустила. Учужала, или что... А деда я так – подразнил.

– Давно вы с Геней в приятелих? – В голове Петра Алексеевича забрезжило не до конца оформившееся соображение.

Пал Палыч с готовностью переменял тему.

– В молодых годах я по всему району охотился. Мясо меня ня интяресовало – мы любители были зайца, лисы, енота... В бригаде ходили. Ня за шкуру даже. Увлекало нас просто. Конечно, шкуры сдавали, они денег стоили, но ня дорого – мотоцикл ня купишь. Так – на порох да капсюли. Патроны-то сами снаряжали. Тогда Геню и узнал. Он с Иванькова приходил в Голубево охотиться, а там у материной родни дом. Побаивались его. Он охотник старый – опасались, вдруг ня так что, ня ту лису возьмём... Я говорил уже. Ня боялись даже – уважение было. Он же простой, ня жадный дед – притягивает. Ну, и начали общаться...

Ночные тени в свете фар, густые вдали, по мере приближения подтаивали и отползали в придорожные кусты. Весенний воздух был пуст – летающая впотьмах дребедень ещё не народилась и не расправила слюдяные крылышки.

– Был у нас с Геней в бригаде случай. – Подоспевшее воспоминание озарило взгляд Пал Палыча озорным светом. – Старшие встали на номера – Геня, Хомиченко, второй секретарь, и ещё трое, а мы с Толей Евдокимовым – в загоне, как молодые. Мы, значит, в загоне, а тут гуси летят – октябрь был месяц или сентябрь, ня помню. Толя – р-раз – стволы на гусей. Он, может, и стрелять ня собирался, а я откуда знаю? Я сразу в мозгах: ага, он будет первых бить, а я, значит, с середины

и сзади. И тоже стволы вверх. Ня дожидаясь, когда он выцелит, — бух! А он тоже — бух! Тут сразу собаки заорали — метров в пятидесяти. Заорали и — на номера. А Геня, он такой — если кто в загоне выстрелил, он бросает номер и на выстрел бьжит, знает — зверь завален. По сябе ж судит. Чего тогда на номере стоять? А мы-то стреляли по гусьям, Пётр Ляксеич. Понимаете? А лось поднялся и пошёл прямо на него — на евоный номер. А его нет. Ох, как он нам с Толей хвосты накрутил!

— Гусей-то взяли? — поинтересовался Пётр Алексеевич.

— Какое! Ня попали. Да... — Пал Палыч хохотнул в ответ какому-то забавному манёвру памяти. — Это он, Геня, мне показал, где один старик иваньковский клад зарыл. Родни у него, что ли, ня осталось... Чуть по молодости разума ня лишил — к лопате уж потянулся. Про клад в дярвене знали — что под яблоней вот на этом гяктаре. Местные, иваньковские-то, считай, все искали. А как найдёшь? — Пал Палыч, словно для подаяния, протянул вперёд ладонь. — Где копать? С какой стороны от яблони? В метре от ней, в полутора? А яблонь — целый сад. Ня нашли...

И тут невероятное соображение оформилось — на Петра Алексеевича *снизошло*. Да так, что сам оторопел.

— Слушайте, Пал Палыч, а ведь это он не со мной, он с вами говорил.

И Пётр Алексеевич рассказал про странные, словно в миг просветления туманной речи произнесенные, слова деда Гени.

— Так что? — не сразу понял Пал Палыч.

— А вы сложите, — предложил Пётр Алексеевич и сам наглядно, копируя особенности говора, сложил: — «Ну цо? Ружьё да ўда обедают худо?» — «Что делать — ня пришёл кабан на кукурузу. Ты, дед, сляды глядел — ня обознался?» — «Ня путай мудро́го старика со старым мудаком». — «Ня злись, дед, ещё придёт — куда ему деваться? Будем с мясом, ня боись». — «А цо бояца мне? Ня бяри чужого ницого и ня бойся никого».

Некоторое время Пал Палыч озадаченно молчал, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Казалось, невысказанная догадка Петра Алексеевича поразила и его. Однако затруднение решилось быстро.

— А это вот что — это Геня упражняется. — В полумраке салона, освещённого лишь цветными огоньками приборной доски, Пал Палыч повернул длинный костяной нос к Петру Алексеевичу. — Видать, и в этом деле тоже ня без выучки.

— В каком деле? — Теперь не понимал Петр Алексеевич.

— А чтобы мне оттуда, с облаков-то, слать вясточку. Ну, чтобы мимо зверя ня прошёл. Пока ня очень что-то у него. Настройка сбита — ишь как увело, ня в тот момент...

В машине снова повисла тишина. Пал Палыч беззвучно шевелил губами, видимо, повторяя разорванный во времени, сверхъестественный диалог, а Петру Алексеевичу, всё ещё ошеломлённому своим открытием, — так ребёнок бывает ошеломлён мёртвым танцем отброшенного ящерицей хвоста, — опять припомнился завскладом типографии Русского географического общества Иванюта. Точнее, не он сам, а его лироэпические строки:

Но где-то там, где вызверилась ночь  
И берег запылён звёздной пылью,  
Мне предстоит отчаянным усилием  
Сломать сургуч и немочь превозмочь.

Вскоре с макарóвской горки показались огоньки Новоржева – дома были темны, горели только фонари, да и те из экономии – через один. Пётр Алексеевич, приободряясь, тряхнул закисшей головой – приехали.

Через несколько минут возле добротных, в два этажа, хором Пал Палыча они уже выходили из машины в свежую весеннюю ночь.

Спустя месяц профессор Цукатов рассказал Петру Алексеевичу, что передал кольцо и датчик-чип по назначению. Окольцевали вальдшнепа в Великобритании где-то в Уэльсе; датчик, осуществляя биолокацию и реагируя на свет, позволял следить за путём миграции птицы, отдельно учитывая дневные и ночные перемещения, помогал определять место гнездования и чёрт знает что ещё – снять информацию мог лишь производитель или владелец соответствующей спецаппаратуры. Вдобавок британские орнитологи присвоили добытому Петром Алексеевичем кулику, словно внедрённому агенту, оперативную кличку, зачем-то отчеканив её на кольце. С подобным и профессор, и его коллеги столкнулись впервые. Должно быть – важная птица, региональный резидент.

Вальдшнепа звали Айвор Новелло.